

Андрей Арьев

Обретенное право

Теперь уже трудно представить, когда Арсений Борисович был для меня просто Сеней, сильно младшим по возрасту выпускником Тартуского университета. Может быть, в 1969 г., когда я сосватал его и его приятелей водить летом экскурсии в Пушкинском заповеднике. В том году меня в Пушкинских Горах не было, но когда я приехал в следующем, следы их деятельности ощущались явственно. Не знаю, на самом ли деле они стащили декоративную цепь с дуба у дома директора заповедника, успешно превращавшего «приют спокойствия, трудов и вдохновенья» в советский «парк культуры и отдыха». Может быть, это и легенда, отразившаяся в кратком резюме Сергея Довлатова: «Молодцы структуралисты!» А вот что не легенда, так это то, что материальное вознаграждение за экскурсии в располагавшемся рядом с Тригорским на Ворониче местном бюро за мое недолгое отсутствие несколько повысилось. Оказывается, как установил Сеня с приятелями, при их распределении организаторы кое-что приписывали в свою пользу. Что и было доказано молодежью во главе с ним. Но также характерно, что никаких кляуз на директора бюро не последовало, разобрались в приватной беседе – без всяких криков. Понятное ведь дело, у милейшего директора семья, а работать в Пушкинских Горах особо негде... Обычная для русской жизни история.

Запасов подобных случаев у Сени Рогинского была масса. Собственно, его появление почти всегда сопровождалось звучащим едва ли не от входной двери: «Сейчас расскажу историю!..» И так до сих пор. Рекорд был поставлен сравнительно недавно на одном из его дней рождения с круглой датой. Вместо того, чтобы выслушивать от присутствующих приличествующие такому дню поздравления, Арсений Борисович сам рассказал о каждом из них – а народу собралось немало – занимательный эпизод.

Вот к этой нашей конкретной истории Сеню Рогинского и тянуло. Да и как было не тянуть, если родился и детские годы он провел в северной ссыльной зоне, куда был отправлен его отец, инженер, отсидевший «свое» и там же вновь арестованный? С самого начала отечественная история для Арсения Борисовича была персонифицирована, что не в последнюю очередь объясняет его стремительное развитие и в качестве ее исследователя, и в качестве персонажа. И так же естествен основной предмет его интересов – освободительное движение в России. В студенческие годы это декабристы, а чем дальше, тем ближе к нашему времени, когда на ощупь стало понятно: единственная достойная единица исторического измерения – длина человеческой жизни. Не государство, а человек мера исторических вещей.

В момент знакомства я полагал, что встречаюсь с вернувшимся из Тарту в Питер незаурядным, судя по слухам и попавшейся мне на глаза публикации в тартуском студенческом сборнике, учеником Ю.М. Лотмана. Будет с кем поговорить о заслуженно популярном в ту пору структурализме, «единственно верном» в глазах продвинутой гуманитарной молодежи «учении». Тут-то меня и ждало восхищенное разочарование: никаким структуралистом прямой ученик Юрмиха, как величали Лотмана в его окружении, не стал, увлечение историей как таковой поставил выше канонизированного метода. Просто погрузился в историю как в естественную среду обитания. Это была его стихия, в ней он одинаково легко дышал – и в ее придонных архивных слоях, и в самом верхнем, хаотично дрейфующем планктоне. До сих пор не могу, например, сообразить, какая интуиция позволила ему с друзьями однажды в тех же Пушкинских Горах среди сотен стадами бродящих туристов вычислить чуть ли не главного из оставшихся в живых свидетеля катынского расстрела польских офицеров...

Совершенно естественно вокруг Арсения Рогинского в середине 1970-х закрутилось в Ленинграде, потом в Москве, далее – везде движение молодых исследователей, задавшихся целью излечить неизлечимое – потерю памяти. У них-то как раз с памятью проблем не возникало, но хотя бы постараться остановить распад, напомнить, что историческая память, – вещь реальная... Это оказалось в их человеческих силах.

Слово было найдено – «Память» (минимум на пять лет раньше появления одноименного романа-эссе Чивилихина, с наследовавшим ему одиозным сообществом «охраны русской старины»). Планы были – издавать со всей научной тщательностью свидетельства, недоступные публичному рассмотрению, выпавшие из поля зрения не только советской, но и мировой печати. Перспективы открывались безграничные – большинство острых тем, связанных с историей России, в официальной печати были или замолчаны, или сфальсифицированы. Не острых тем не оставалось вовсе.

Самиздат, лишь спорадически доходивший до академической аудитории, да и текстологически не всегда удовлетворительный, для поставленных целей подходил не совсем. К тому же объемы получались книжные. Типографий же частных, ни тем паче подпольных, в СССР давно не существовало. Силою вещей первый сборник «Памяти» вышел в Нью-Йорке в 1976 г. Хотя «Память» составлялась в Ленинграде, на титуле стояло: Москва – Нью-Йорк (со второго выпуска: Москва – Париж). Отчаянные были конспираторы! При быстронараставшем круге сторонников и участников этого удивительного издания всем тем, кто непосредственно работал над подготовкой выпусков к печати, долго сохранять инкогнито было немыслимо. Не скажу, до выхода «Памяти» в свет или сразу же после, но первый обыск у Арсения Рогинского КГБ провел в том же 1976 г. Редакцию это не остановило, потому что не остановило и самого Арсения Борисовича. Обыски и прочие «профилактические мероприятия» продолжались, продолжалось и издание «Памяти». Материалы Рогинского, само собой под псевдонимом, помещались в каждом. В среднем на создание тома уходил год. Последний, пятый, вышел в 1981 г., с завершением дискуссии по поводу книги Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Пайпс, советник американского президента и профессор Гарварда, считался заклятым врагом не только СССР – России в целом. Но спорили с ним в «Памяти» не как с политиком, а как с ученым. Так что в дискуссию с неведомыми ему авторами он счел своим долгом включиться. Ответ ему отражал общие взгляды историков, публиковавшихся в «Памяти», с их сочувственным отношением к русскому социал-демократическому движению. В частности, показательна критика Пайпса в его оценке народовольцев как анархистов. Редакция «Памяти» принципиально проводила черту между изначально высокой нравственной установкой народников и питавшихся энергией разрушения «дворцов и кумиров» анархистов, не говоря уж об априорно циничных тактиках большевизма.

Здесь затронут очень важный для историософских взглядов Арсения Рогинского нерв. Этическое обоснование значимых в исторической перспективе поступков вряд ли когда расходится у него с их общей оценкой.

Если попытаться угадать имена дорогих для Арсения Борисовича личностей постреволюционной российской истории, я бы предложил дочь народовольца, члена партии эсеров, Екатерину Олицкую, еще и в начале 1930-х уходившую в подполье, печатавшую и распространявшую антибольшевистские листовки. Ее обширные воспоминания были изданы в самом начале 1970-х за рубежом, но были нам доступны.

Нравственное упорство роднит героев Арсения Рогинского, на любой взгляд несовместимых: народовольцев с их боевой программой и толстовцев с их учением о непротивлении злу

насилием. Когда он занялся исследованием положения в СССР крестьян-толстовцев, то увидел в деятельности тех и других единую светлую подоплеку, живо показанную им на примере толстовца Сергея Попова. При очередном аресте тот говорил, ложась на пол: «Дорогие братья, я не хочу развращать вас своим повиновением». Что тут можно сказать? Не развращайте, да не развращаемы будете!

У властей к моменту выхода пятого выпуска «Памяти» по поводу Арсения Борисовича решение со всей очевидностью было принято: или на Запад, или на Восток. Уезжать он отказался и в августе 1981 г. был арестован – по несостоятельному с юридической точки зрения обвинению в «подделке документов». «Документами» следствие сочло «Отношения» в архивы и в рукописные отделы библиотек с просьбами допустить к работе в них А.Б. Рогинского по такой-то теме. На «Отношения» эти тогда даже печатей не ставили, подписывались любым более или менее официальным лицом, например, редактором журнала или издательства. Подписывались не глядя, часто кем-нибудь из сотрудников за своего патрона. В любом случае, документом эти листочки считать нелепо. Что и было указано адвокатом Рогинского на суде и что судья буквально «пропустил мимо ушей». Все-таки это поразительно: готовя серьезный процесс, элементарно не ознакомиться с правоприменительными нормами. Можно представить себе, что это обыкновенный цинизм: сколько захотим, столько и впаем. Понятно, что и срок заключения спускался в суд заранее (в данном случае максимальный по предложенной статье). Но все-таки по ходу заседаний складывалось впечатление: следствие уверено в законодательной базе, подведенной под процесс. Иначе зал был бы заполнен какими-нибудь «дружинниками», как это было за год перед тем в суде над Константином Азадовским, которому во время обыска в его квартире элементарно подбросили наркотики. В случае Рогинского сочувствующей ему публике хотели воочию продемонстрировать – процесс «уголовный», а не «политический». Стоит поэтому сказать о нем несколько слов.

У судьи вид тусклый и гнусоватый, вид человека, в дело не вникающего, путающего «графов» с «гражданами» (если нужно прочесть «гр. такой-то»), не скажешь даже, что сотрудник органов, – скорее сидящий у них «на крючке» приспешник. Свидетели липового обвинения – что-то эфемерное, невнятно с чем-то соглашающееся: ни одного сегодня не опознал, если б встретил. Зато неожиданно бодр и толков адвокат, видно впервые встретивший столь нестандартного подзащитного. Не забыть и старшее поколение ученых гуманитариев, вызванных в суд свидетелями, – Б.Ф. Егорова, Я.С. Лурье, В.В. Пугачева. Никого из них подсоветская жизнь не «обломала», на что, возможно, был расчет, все они не поскупились на уважительные слова в адрес молодого коллеги. Он и не подвел. И еще как не подвел! Вместо того, чтобы спорить в заключительном слове с судом и отвергать абсурдные обвинения, он прочитал настоящую лекцию: «Положение историка в Советском Союзе». Приговор был predetermined и зачитан. После чего в зале раздался последний громкий голос – голос матери Арсения Борисовича Елены Абрамовны, обращенный к сыну: «Я горжусь тобой!»

Что оставалось на долю друзей? Собрались произвольно у здания суда на Почтамтской, у дворовой арки, через которую должны были вывезти заключенного. И когда автозак появился, стали кричать: «Сеня! Сеня! Сеня!..» Не знаю, слышны ли были ему эти простые выражения чувств. Надеюсь, слышны.